



Геннадий Русаков

ДНИ

Геннадий Русаков

ДНИ

Москва
«Воймега»
2016

УДК 821.161.1-1 Русаков
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
Р88

Дизайн серии: Сергей Труханов

Г. Русаков
Р88 Дни. — М.: Воймега, 2016. — 128 с.

ISBN 978-5-7640-0194-4

Книга издана при поддержке Алексея Коровина.

© Г. Русаков, текст, 2016
© С. Труханов, оформление, 2016
© «Воймега», 2016

* * *

Когда июль другими именами
окликнет птиц, сошедших с высоты
в укрытья гнёзд, построенных над нами,
в надышанные норы и кусты,
а мотоцикл беспутного соседа
сорвётся в ночь, нещадно тарахтя, —
я с головой уйду в укрытье пледа
и за стеной расплачется дитя.
Темно вокруг, и мир исходно страшен.
Он сам собой. Ему не нужно нас
на этих вёрстах неоглядных пашен
и на пространстве в сорок тысяч глаз.
Там я не сплю в застиранной рубашке,
один в моей немислимой стране,
где по ночам разгуливают страхи,
особенно по левой стороне.
Где темь черна, а утро бронебойно
в блистанье вод, хотя возможно — льдов.
И длятся необъявленные войны
на улицах далёких городов.

* * *

...И властный зуд, как прежде по весне:
желанье лёта или просто взбрыка —
ни для чего, а сдуру, напрямиком,
задравши хвост, восторженным телком...
Июльских гроз, их царственного рыка.
Тяжёлым телом движется Ока
по самой нижней кромке лозняка,
качая пузыри водоворотов.
И, серая от нудного дождя,
наставилась к Озёрам, уходя
к нездешним людям и чужим широтам.
Эх, разойдусь, раскинусь, полечу —
гуляй, шпана, сегодня по плечу
любая блажь, ответ на все вопросы!
Какие наши, собственно, года,
когда идёт высокая вода
и заливают выжившие плёсы?

* * *

С губами словно лопнувшая почка
мне снится дочь в свои двенадцать лет,
такого невеликого росточка,
какого и в размерах нынче нет.
Мне снятся сны. И я во сне тоскую
по прежней жизни — той, что до беды,
хотя уже забыл её — такую..
А может, затоптал её следы.
Нелепа арифметика старенья:
нет мудрости в начисленных годах.
Есть просто усыхающее зреньё,
плацкарта в проскочивших поездах.
И ощущение Божьего замаха —
до темноты, до онеменья глаз!
До подлого рыдательного страха
за жизнь мою
в её последний раз.

* * *

Август подан изюминой сладкой,
он ещё сахарист до поры.
Лопухи серебристой подкладкой
заслонились от лютой жары.
И у клёнов опущены плечи,
и лечебная пыль горяча.
И у жизни моей человеческой
кто-то будто стоит у плеча.
Никого там, как водится, нету...
Это просто мерещится мне.
Просто ветром качнуло планету.
Просто дерево дышит во сне.
Или, может, из дальней Покровки,
из такой очень лёгкой земли
прозвенели-пропели подковки,
пробежали девчоночьи дни.

* * *

Я твёрдо ходил по земле,
считая себя равноправным
деревьям и прочим в селе,
причисленным к нужным и главным.
Следил за смещением дней
с просторным раскатом касаток...
Я был никого не главней,
но выделен в первый десяток.
Хорошие это дела —
найти на земле своё место
(хотя бы в масштабах села)
и будней замешивать тесто.
Придумывать смену погод,
резоны для временной суши —
чтоб гукал с Оки пароход
и ветер закладывал уши.
Чтоб там, высоко наверху,
среди молодых и безгрешных,
хоть строчкою быть на слуху,
но всё-таки жить среди здешних.

* * *

В ту пору лингвистических загулов
я числился «французским толмачом»
и жил за счёт неправильных глаголов.
А остальное, право, ни при чём.
Наш брат — заложник цифры или слова.
Перечислений, путаных цитат...
Так повелось, наверное, ab ovo.
Но нас везде охотно брали в штат.
Как евнухи багдадского гарема —
хранители бесстыдств и красоты, —
мы были и беспамятны, и немые.
Но нам за это говорили «ты».
Считалось — знак особого доверья,
холуйства, приближённости к верхам.
...И вот я жду с блокнотиком за дверью,
покуда чужд и тайнам, и грехам.
Вошёл и сел. Перевожу на вздохе:
не записал — запомнил и донёс.
И холодок причастности к эпохе
щечочет кожу, как педикулёз.

* * *

...А ночь горька, как бунинская проза.
Под сердцем ноет мелкая заноза.
Не горься: перетерпим-переждём.
На небо глянем, ветром оботрёмся,
с погодой постепенно разберёмся
и захлебнёмся солнечным дождём.
Для счастья есть особые причины.
У них порой дурацкие личины:
то пруд зацвёл, то звякнуло окно.
То на дороге пыль заворошило,
телку как будто кто-то вставил шило...
А на поверку, в общем, всё равно,
поскольку что бы ни происходило:
окно, телок, звезды паникадило —
весь этот список глупых мелочей
ложится прочно в ровную основу,
чтоб там расти тебе, судьбе и слову.
...А ночь горька: чем дальше — тем горчей.

* * *

В апреле вдруг произошла весна —
насильственная смена поколений.
Взорвались почки: им была тесна
обёртка — в ней не разогнуть коленей.
Снег умирал в заляпанных бинтах.
К нему гуськом сбегались санитары.
Но отходили среди «ох» и «ах»
за неимением подходящей тары.
Менялись даты. Думалось про быт.
И про незавершённость сотворенья.
Был каждый срок на клеточки разбит.
Но удивляла дальноркость зренья.
...В апреле вдруг произошла весна —
в России всё внезапно и не к сроку.
Мы так живём. Такие времена.
Я в них вон тот, который третий сбоку.

* * *

...Впрочем, всё уже начато: вон собирают по ключьям
Александровский сад, и порочны посулы дорог.
Третьегодняяшней сажей расписаны квёлые ночи.
Остывает у губ голубой суховатый парок.
Неужели так нежно душа от меня улетает?..
Э, какие нам годы и кто нам глядит в паспорта!
Крепкозубое время сегодня иное читает..
Обернётся, шатнётся — и этот парок изо рта.
Нет, не надо учить меня верности и ожиданью,
потому что я возраст облаткой кладу на язык,
потому что я тоже плачу установленной данью
за карманную волю и трубы сезонных музык!
Всклянй, до самых краёв — даже страшно

поднять для отхлёба —
налит день... Поднимаешь и ахаешь: «Ах!»
И клекочет в крови молодая весёлая злоба
клекотанием трассы, шатающей стёкла в домах.
Слышу, бьёт жеребец на Капотне в просевшие доски,
и его до хрипенья шибает спиртовый настой:
эти запахи стужи, бессмертья и влажной извёстки..
И бесстыдны дороги апрельской своей наготой.

* * *

Дерюга дней ещё не порвалась.
Ночные звери ворошатся в норах:
они, как мы, наверно, тоже власть
досуги коротают в разговорах.
А тут апрельский гневный снегопад
метёт стеной уже вторые сутки.
И под землёй кроты и всходы спят
до самой окончательной побудки.
Что ж, и меня спасал от жизни сон —
уснул, так спи: со спящих взятки гладки.
Я до сих пор ещё держу фасон,
да не спасают прежние повадки:
и сон не тот, и снятся старики.
А женщин мало и в приличном виде.
Ночами слышен мерный ход реки...
Наверно, Стикс. Но до чего ж обыден.

* * *

Я в десять лет узнал размеры мира,
поскольку жил для невозможных дел:
он был от Горобцов до Армавира —
вокруг меня, а я в него глядел.
В нём шли дожди и размещались грозы.
И жизнь вершилась с пьяного конца,
где укрупнялись куры и колхозы.
А я глядел, не отводя лица.
Мне было странно и почти не страшно.
...Вторые сутки мокнет березняк.
И пол просел. И кончен день пустяшный.
Пролётных уток тихий перезвяк.
Сейчас уйдёт недолгое звучанье...
Бугор во тьме, проулок в три огня.
И веток беспризорное качанье —
как будто мир взаправду без меня.

* * *

Хопёрские смуглые девы
тяжёлых казацких кровей.
Гармошка, мотани-напевы
и вылет собольих бровей...
Ах, мальвы мои и герани!
Бархотки — смешные цветы,
в моей незначительной рани
скупой эталон красоты.
Что было — то было и сплыло
и с полой водою ушло,
как время горенья и пыла,
удачи крутое число.
Судьбы соколиные брови,
гармошка, цветастая шаль...
И детские полулюбви,
которых так искренне жаль.

* * *

Дневных теней колеблемая ткань
вполне прочна, лишь выцвела краями.
У нас сентябрь везде, куда ни глянь.
И по ночам темно в небесной яме.
Вот-вот дохнут в окошко холода.
Но дни полны каким-то тихим светом.
Они теплы, а всё же, как всегда,
им трудно расставаться с этим летом.
Я сам боюсь назначенных разлук,
календарей, уходов или сборов.
Поры прощанья и пожатья рук,
поспешных предотъездных разговоров.
Пусть лучше ткань колеблемых теней,
звук тишины, непрочность пересменки...
И женщина, спешащая по ней,
с липучкой на ободранной коленке.

* * *

Господи Боже, давай поживём.
Господи Боже, давай погуляем.
Рыбу половим, цветочки нарвём.
Вместе с собакой хвостом повиляем.
Ветер повеет — перо пролетит.
В речке карась от восторга прогнётся.
Господи, к жизни возрос аппетит.
Воздух при носке почти что не мнётся.
Хочется важности слов или дел.
Просится малости, ждётся большого.
День крупнотелым шмелём прогудел.
Вечер слегка голубым подтушёван.
Близится время счастливых утрат,
лучших потерь и спокойного света.
...Господи Боже, сейчас в аккурат
самое лучшее в Редькине лето!

* * *

Я просыпался на холмах Тосканы.
Шёл ранний август. Воздух тихо цвёл.
Уже косили. Были сухо пряны
хлеба в валках, и много пьяных пчёл.
От Эмполи к Сиене плыли тучи.
Поспешный дождь надолго затихал.
Зной становился ощутимо тучен.
И Альтаир ночами полыхал.
Я не успел родиться здесь когда-то
и только по вине календарей —
из-за сплошной неразберихи в датах
и позабытых метрик матерей.
Как беззаботны города Тосканы!
История никем не учтена.
Хлеба в валках, и пчёлы вечно пьяны.
И терпок запах местного вина.

Переполох

Насекомые заходят
в насекомные дома,
прямо в нашем огороде
открывают закрома.
Мыши тащат скарб-вещички,
разбирают паспорта.
Занимают в электричке
элитарные места.
А уж птицы, а уж птицы!
И куда их только деть?
Сверху всем не уместиться,
снизу всем не усидеть.
Щуки лезут прямо в руки,
чтобы палец отхватить.
Всё как надо, по науке...
...Хватит, граждане, мутить!
Кто поверит этим бредням?
Если врать, так половчей.
...Таракан идёт последним,
без поклажи и ничей.

* * *

Перед дождём слезятся огурцы:
того гляди, от рёва захлебнутся.
Ну что ж, они, понятно, не бойцы:
небось, опять под листьями свернутся.
Пускай себе. Довольно им невзгод.
Я не про них, я снова про погоды.
Про этот долгий и промозглый год.
Я про его несохнувшие воды.
Я про крыжовник, плотно налитой.
Про торс его, угрюмо волосатый.
Про эту жизнь, что суетнее той —
расхристанной и гадко полосатой.
Про то, как ветер падает на сад
и накрывает сверху волглой тенью.
Про колышки привязанных рассад —
чтоб не сбежали к вредному растению.

* * *

Всё путём, как надо, шито-крыто...
Веет ветер, пахнет матерком.
И соседка Марга-Маргарита
ходит, сиськи брызжут молоком.
Но, наверно, не было такого...
А уж если было, так давно.
Бабушка для Генки Русакова
валенки канючит в районо.
Я косяк наладил из бумаги,
затянулся, харкаю-давлюсь.
Вот подамся из мордвы в варяги,
а потом в Поворино, на Русь.
Дальше — прямо, мать моя дорога.
Дряхлый ельник, глыбкая вода.
Что-то жлббов стало нынче много.
Что-то долго тянутся года.

* * *

Не нужно принимать себя всерьёз.
Мы тут, ей-богу, очень ненадолго —
придуманный Создателем курьёз,
живущий из осознанного долга.
Дерзай. Дерзи, как водится, Творцу.
Хами ему, поскольку благодарен.
Начало — приближение к концу.
Я тоже этим временем ударен:
жду от него внезапного письма,
где строчки легче женского касанья —
небесный шёлк, дыханья бахромы...
У времени своё правописание.
Ах, жизнь-удача, туз из рукава!
Кому ещё такое выпадает?
...И рано повзрослевшая трава
под тяжестью июня проседает.

* * *

Дождь без ветра, тугой и отвесный...
Начинает идти и идёт
по растительной местности местной...
Остановится и переждёт.
А чего? Так ведь кто его знает...
Землю слушает, каждый гектар.
Как наслушался — лить начинает:
аж с лугов поднимается пар!
Нет, люблю я глядеть из окошка
на пространство зверей и людей!
Мир — всего лишь пригодная площадка
для июльских подённых дождей.
Для рассветов в пупырчатых цыпках
и хождения по мокрой траве
в сапогах, от резины негибких...
Для гуденья небес в голове.

* * *

Собаки воют — нынче смерть в селе.
Она опять пришла по огородам.
И вот уже сама навеселе
и на поминках топчется с народом.
В России смерть — серьёзный ритуал,
в котором есть резон для каждой рюмки.
Его с рожденья знает стар и мал.
А пьют до пьяни только недоумки.
И я помру — а почему бы нет?
Тут ничего особого, ей-богу.
И вы меня по завершенье лет
помянете на дальнюю дорогу.
Не пейте много. Скоро ваш черёд.
Мы все там будем, это дело сроков.
Ну а пока — пригубим, и вперёд,
как любит говорить поэт Широков.

* * *

...И всё же есть у нас такое право —
достойно кушать белое вино.
Как любит нас высокая держава,
раз это нам ещё разрешено!
Раз мы хотим — пожалуйста к разливу.
Нам хорошо — и всем вокруг светло.
У нас и детство выдалось счастливым,
лишь после в балаган переросло.
Зудит и длится время средней стати.
Как не запить от боли бытия
в компании запутавшихся братьев,
которым нет спокойного житья?
Как развязаться с непонятным веком,
с похабщиной, с мелением души,
с его осточертелым саундтреком,
записанным на сущие гроши?

* * *

Случайная гармонь звучит в двадцатом веке —
громоздкий инструмент бригадных веселин.
Ровесники мои, родные человеки!
Я редко веселюсь:
хандра мешает, сплин.
И хором не пою, и парой не танцую...
Но душу бережит небрежный перебор.
Уже и век другой, и я люблю другую.
А вот поди ты — жаль чего-то до сих пор:
тальянки-серебра и чубчика в кепчонке?
Прохода по селу в накиде пиджака?
Забытой, не моей, не встреченной девчонки —
когда-то, где-то там, совсем издалека?
...Не надо ничего: ни славы, ни удачи.
Я расплещу вино, укладываясь спать.
Гармошка за окном зовёт, частит-судачит...
Пристукнет каблуком и вскинется опять.

* * *

Вон птица на крыше свистит напролом,
окрестного мира не слыша...
Да ей-то он что? Пусть хоть встанет колом
и рушится чёртова крыша!
А птице по званию положено петь
калёной тростиной гортани.
Я тоже, признаться, хочу преуспеть
в упорном моём щебетанье.
Тщеславие — плюс при словесном труде,
где с временем трудно ужиться.
Я знаю, что слава — круги по воде.
Но как бы и нам покружиться?
И нам бы, как где-то заметил Жан-Жак,
пройтись в фиолетовых брюках,
да чтобы при этом трёхцветный пиджак
и небо в лирических глюках!

* * *

Ничего, что стихи грустноваты,
день слюнявый, а жизнь коротка.
Что клоками неряшливой ваты
над садами висят облака.
Это просто приметы сезона,
но в подробностях он веселей:
и село далеко от промзоны,
и для глаза хватает полей.
В эту пору коротких печалей
без особых на это причин
мир покладист и первоначален
и не носит дурацких личин.
Он естественен в тяге к покою,
в неприятье случайных идей.
...И спешат поезда за рекою,
увозя от соблазнов людей.

* * *

У меня изменилась манера письма:
стала суше, печальней и проще.
Это воздух, и возраста злая тесьма,
и уже отгремевшие рощи.
Убежать бы куда-то. Зарыться в песок
на горячем и солнечном месте,
чтоб в душе на пригреве запел голосок...
А потом бы запели мы вместе:
про сады до беды, приключившейся в срок,
про уже отзвучавшие рощи,
про страну без дорог и оглохших сорок...
Мы бы стали печальней и проще.
Мы бы пели — мы трезвые редко поём
за нехваткой вокальных традиций.
Но, ей-богу, в отечестве грозном моём
и без песен годится
родиться.

* * *

Я про червей, что выбрались на свет
и захлебнулись воздухом зелёным.
Я про тугой велосипедный след,
наискосок ведущий к школьным клёнам.
Я про июль в насупленном платке.
Про утро без дождей и без укора.
Про гуканье буксиров на реке
и прочее из этого набора.
Про то, что ты тоскуешь обо мне,
а время прорастает в мокрой лунке.
Костры горят на правой стороне,
и тополя построились по струнке.
Про шорох птиц, летящих над Окой.
Про жизнь мою в её простом формате:
он три на восемь, маленький такой —
с подробностями, вспомненными кстати.

* * *

Читатель, мы, как помнится, дружили,
друг к другу заходили на чай...
В ту пору я и вправду был двужилен
и прочно умещался в бытии.
Мне счастья доставалось сколько нужно:
аж до захлёба, до свеченья глаз.
И жизнь была осмысленна наружно
(хотя ничуть не больше, чем сейчас).
Теперь мы редко видимся за чаем.
У нас дела, нас время развело.
И мы уже почти не замечаем,
как втихаря отстроилось село,
как перемёрли буйные погодки,
бывавшие велики во хмелю.
Я с ними интереса к местной водке,
увы, теперь уже не разделяю:
мы стали строже выбирать напитки...
Читатель-друг, как изменился быт!
И сколь достойны наши пережитки
на фоне мелкотравчатых обид.

* * *

Завершилась пора насекомых,
жаркой мяты и пряничных лун,
важных ценностей, редко искомых —
тяжёлее навскид, чем колун.
Завершилась — и славно, ей-богу.
Будем в новой картошку копать,
выносить огурцы на дорогу
и ночами заслуженно спать.
Мелким бизнесом жён утешая,
станем дома отчётность вести:
хоть доходность совсем небольшая,
всё равно хоть копейка в горсти...
Отработало позднее лето.
Рады-живы, в окошко глядим.
И у Шаховых куст бересклета
по-осеннему стал неплодим.

* * *

За Джанкочем плотнеет земля:
хоть бедна, но уже не костиста.
Серый бобрик, жнивье, тополя.
И качанье стрижиного свиста.
В этой голости строгая боль
и терпенья суровая мера.
Я, Таврида, сравнялся с тобой —
у меня тоже голо и серо.
Все пути мимо счастья ведут.
Я лицо наклоняю, чтоб слышать:
этот снова крепчающий гуд
не на небе, но вроде бы выше...
Там лавиною время идёт
по дорогам сирот и прощаний,
мимо мелких и стынувших вод,
позабывших до нас обещаний...
Там врастают в песок тополя.
Затвердела на взлобих корка.
...За Джанкочем сухая земля.
Да и пахнет, как злая махорка.

* * *

Когда мне Чино да Пистойя
бормочет свой поспешный стих,
я говорю ему: «Пустое.
Мы все живём от сих до сих.
Ну, может, разница в столетье —
от этой риски и до той.
Потом, глядишь, второе-третье...
И день, до скляни налитой.
Душа летит как одуванчик,
подбита светом изнутри.
Нас всех одно столетье нянчит,
и ты на даты не смотри:
они всего лишь цифры, Чино.
Нас кто-то любит, кто-то нет...
А жизнь исходно беспричинна.
И мы в ней — яблоко-ранет».

* * *

Как вам живётся-можетя?
Как по ночам тревожится?
Как мелкие животные
у вас по сенцам спят?
Как ждётся вам и плачется?
Какое время значитя?
Как баковские дожди
шепотками кропят?
Мне с вами рядом хочется.
Мне до сих пор стрекочется.
И барахольной улицей
Никулино гремит.
На палке флюгер крутится.
А мне литинститутится.
И среди разной разности
ночами снится МИД.

* * *

...И я мой век мучительно люблю
и с детства дорожу его харчами.
Мне только дай — я Горы заселю
саврасовскими чёрными грачами,
раскину вологодские снега,
развешу красноярские метели...
Зима ещё по-прежнему долга,
и озими ещё не отпотели.
Душа как будто и взаправду спит,
но зорко видит нужные детали.
Ей странен нашей местности прикид,
которым мы гордиться перестали
из-за упрямства наших январей
и бездорожья непосильных странствий.
Из-за больших и маленьких зверей,
живущих с нами на одном пространстве.

* * *

Мы сомнительной генеалогии —
сплошь дьячки или политпросвет...
Жили-были, как прочие-многие,
и не лезли в Верховный Совет.
Мы, скорей, из районной династии —
тот завхоз, этот регент в Клину...
Никому бела света не застили,
умирали в любую войну.
Нам и там не фартило особенно —
вечно младший командный состав.
Был один — распевал, словно Собинов...
Рано помер, от пенья устав.
Мелкота, незлобивые пьяницы,
захолустья опора и честь.
Научились без нужды не кланяться.
Не боялись без повода сесть.
От Торжка до Орехова-Зуева —
книгочеи, плебейская знать...
Наше прошлое так предсказуемо!
Про грядущее лучше не знать.

* * *

Что-то начато... Может, судьба
детский рот округлила для зова?
Или снова плывут ястреба
от Перми до сухого Азова?
Эй, страна, осевое перо!
Честный хлеб и бессмертная влага!
Я поставил года за ребро,
но держись от тебя на полшага:
чем нахлебником быть у родни,
лучше мыть у соседей посуду.
Ты меня без вины не вини.
Я тебя не винил и не буду.
Трудно, мати, с большими детьми.
Но, забыв про семейные счёты,
хоть однажды меня обними —
просто так, без причин, от заботы.

* * *

Нет отныне ни слова, ни дела —
лишь качанье небесной воды,
только воздух, уже поредельй.
И мокреть обложила сады.
Затоскуем, закурим, присядем.
Спать пойдём, чтобы перетерпеть.
А проснёмся — простынки прогладим,
телевизор попросим запеть.
Пусть исполнит мелодий приятных
не о том, что у нас за окном —
там лишь небо в размазанных пятнах
и пробежки в сырой гастроном.
Дождь идёт — чтоб ему провалиться! —
на моей половине земли.
Так и будет три месяца длиться.
...И заборы грибком зацвели.

* * *

Пока ещё не рухнуло лицо,
мои года без повода считая.
И не подводит горе-пальтецо,
происхождением вроде б из Китая.
Пока ещё селёдочный рассвет
не стал серей, а только маслянистей.
И ничего ещё, по сути, нет,
а просто что-то ворохнулось в листьях.
Какой-то звук, похоже, прозвучал...
Ещё не звук, скорее — ощущение.
И ничего никто не назначал.
И не за что выпрашивать прощенье.
Но всё уже исполнилось без нас,
за Нилом или где-то за Араксом...
К примеру, день до времени погас,
обмотанный роскошным пишифаксом.
Моё пальто призналось, что оно
и не из Поднебесной, а левее,
поскольку было произведено
из местного сырья на «Белошвее»...

* * *

Я жизнь несу, как воробья в картузе.
Смотри, Творец: лѣгко и на весу,
не чувствуя труда в посильном грузе.
Уже который год Тебе несу...
То вспыхнет день, то свалятся потѣмки.
И возраст погрозился кулаком,
прочтя стихотвореньѣ внука Тѣмки,
с которым он пока что не знаком.
А у меня в картузе шевеленьѣ
и дуновеньѣ детского тепла.
Уже растѣт другое поколеньѣ,
иного оперенья и крыла.
Блаженный пух, младенческое веко...
Так тих закат и царственна река!
И лѣгок вес начавшегося века,
в котором всё как будто на пока.

* * *

Моих скитаний прорвы-города.
Моих ночёвок траурные норы.
Моих дождей бессмертная вода,
со всей земли пролившаяся в Горы.
Когда-нибудь я загрузу о них —
о тех дождях бессрочной разрядки,
которые с дотошностью портних
прострачивали пойменные грядки.
Когда-нибудь... Но только не сейчас:
уж больно много этой скучной влаги.
А я, полжизни по свету мечась
и оставляя меты на бумаге,
тепла хочу в натопленном дому!
И чтобы за окном не моросили...
Куда пойти согреться и к кому
по всей моей заплаканной России?

* * *

Нам жить да жить и много удивляться...
Родные, люди, слышите меня?
У нас поля длиннее жизни длятся,
за трое суток всходят зелены.
У нас дожди вырастают по колени
в приокские суглинки, как в судьбу.
И череда грядущих поколений
проходит по бугру за городьбу.
У нас всё только-только у начала,
всё с пылу с жару, рядом, на краю.
Нас в зыбке мамка только что качала
и тонко пела «баюшки-баю».
Ещё не завтра с временем прощанье.
Так странен мир и смотрит шире глаз
на наше удивление и тщанье,
по именам не называя нас!

* * *

...И мне то солнце напечёт,
то, пролетая, капнут птички:
я до сих пор у них не в счёт
по устоявшейся привычке.
Вот и сижу себе, как пень,
и зарастаю мелкой травкой.
Мила мне буден дребедень,
поскольку я Поэт со справкой.
И жизни дружеская длань
мне опирается о плечи.
Всё хорошо, куда ни глянь,
да только век недолговечен.
Да только воля суть фуфло
и малограмотна свобода.
Но птицы так же мнут крыло
о заскорузлый воздух года.

* * *

Всё тише гул: дожди врастают в травы.
Такая грусть в намоченных садах,
на пустырях моей страны-державы,
в её больших дощатых городах!
Печален быт бессолнечной природы:
мокнуть, безлюдье, голое окно.
И в липах копошащиеся воды,
которых быть так часто не должно.
Не нужно этих репетиций плача,
всех этих всхлипов, капанья и луж.
Они, по сути ничего не знача,
терзают даже лучшую из душ
коротким небом, дышащим в затылок,
и полутьмой в двенадцатом часу.
...Но я свой груз положенных бутылок
и в слякоть с удовольствием несу.

* * *

Пружинит подмокшая снизу трава.
Стоят бочаги с непроглядной водою.
Весна, холода, и болит голова
от счастья и ветра под низкой звездой.
Простудное поле подбито ледком,
щетиной щетинит, хрустит под ногами.
Ах, жить на земле, тосковать ни о ком...
И ровные брёвна торчат над стогами.
Высоким столетьем звучит тишина.
Брезент от копны улетает на месте.
Прости меня, мать, и не помни, жена,
за то, что мы порознь и больше не вместе.
За этой звезды золочёный обвод,
за низкую ночь и лучи прошивные.
За всё, что ещё не сбылось, но вот-вот,
конечно, исполнится в сроки иные.

* * *

...А в тишине какой-то смутный гуд
среди колонн, под сводами, во мраке.
Спит Сан-Лоренцо. А года бегут.
На Пьяцце Данте затихают драки.
Этруски спят, и римляне ушли.
Умаялись туристы с рюкзаками.
Едва сереет близкий край земли,
на ощупь различаемый руками.
И ты летишь, Перуджия, с холма,
из темноты мелькая опереньем.
Как хороши твои поля и тьма,
бессчётно повторяемые зреньем!
Ты ласточкино тёплое гнездо,
рукой Творца приподнятое в небо.
И, жизнь свою проверив от и до,
я сам шепчу: и мне, Творец, и мне бы...

* * *

Я мальчик с книжкой на затёртом снимке.
...Детдом затих, ему пора — отбой.
И сны летают в инфантильной дымке,
пока что тихо заняты собой.
Оставим их ребяческим занятиям.
Я сам засну и без казённых снов:
ко мне, гордясь своим цивильным платьем,
приходит ангел Колька Иванов.
Он плохо спрыгнул на рязанском спуске.
(Мы с ним всё лето были кореша.)
Я видел, как, избавясь от нагрузки,
всплывала в небеса его душа.
Мы курим шмаль, и просто шутим шутки,
и вспоминаем, как его несли...
И наши неумелые закрутки
опять смердят на целых полземли.
Он свой окурок подбирает с пола:
— Ты, шкет, того... держись, не помирай.
У нас там вся детдомовская школа...
Но если что — рассчитывай на рай.

* * *

Запаскудел я к старости: родинки, чёрные точки.
Неопрятная кожа, неловко приклёпанный нос.
А ведь раньше казалось, что, при непонятном росточке,
я типичный, немного потрёпанный великоросс.
Всё во мне сочеталось с потребностью жёсткой эпохи:
было грубо, но прочно, с расчётом на сложности лет.
Не нуждалось в замене, порою хрипело на вздохе,
но на выдохе всё же давало достойный ответ.
Время билось в окошко, и гибли гипюрные моли.
Лето снова смещалось то вправо, то дальше везде.
И прельщение свободы, а с ней — притяжение воли
волновали и звали, круги разводя по воде.
Над садами дымили тунгусские злые кометы,
волоча за собою тугие лошажьи хвосты.
И слегка проступали столетья срамные приметы —
вполприщур, вполпроблеска, вполтемноты.

* * *

Нет времени без имени,
нет памяти без слёз.
Я век на пайку выменял,
родителям принёс.
А где мои родители
и чей я родный сын?
Ах, годы-победители
и воздуха фуксин!
Какое поколение
живёт со мной вокруг!
Мне с ним одно волнение
и всяческий испуг.
Ни мамы нет, ни братика.
Кто были, те ушли.
Плохая математика
и тощие нули.

СНЫ

Всё это было, было, было...

А. Блок

1

Мне снятся куры, тронутые молью,
в сухом помёте, с меткой на спине.
И воздух снова пахнет канифолью
в той навсегда покинутой стране.
Как я роскошно жил на хлебных корках!
Как шиковал в каких-то восемь лет
у века на хозяйственных задворках,
которых, может, не было и нет!
Зато всю жизнь мне снятся паровозы.
И я всю жизнь откуда-то бегу,
размазывая сопли или слёзы,
а спрятаться от века не могу.
И нет тех кур, и метки их размыло.
И лживы дни воронежской тоски.
Но, Господи, всё это было, было!
...И бабка собирает колоски.

2

Мне снится мама из того столетья,
на снимках остающаяся там.
И ветер плещет понизовой плетью
по мелекесским брошенным местам.
Там что-то происходит или длится.
А нас там нет. Те окна не для нас.

В них светятся возвышенные лица.
В бесхозном доме не отключен газ.
Как хорошо в моём вчерашнем мире!
Я в нём ещё, наверно, не забыт.
На абловской оставленной квартире
всё так же длится непрожитый быт.
А месяц май, сезонно холодая,
то ровен, то дождями засбоит...
И мама, беззащитно молодая,
стоит и смотрит. Смотрит и стоит.

3

Мне снится: одуванчики летят.
Мне снятся дни, наполненные светом,
похожие на праздничных утят,
идущих строем перед сельсоветом.
Мне снится мир, в котором хорошо.
В котором дети — радостные кнопки —
салятся по команде на горшок
и по команде подтирают попки.
Мне снится наш суворовский набор.
Наш третий взвод. Поверки. Пенье хором.
Котельников (пока что не майор,
но всё равно смотревшийся майором).
Мне снится много разной чепухи,
и часто — по невнятному ранжиру.
Нелепой, словно ранние стихи,
а всё равно зачем-то нужной миру.

Мне снятся сны, где мы ещё пижоны,
где нас ещё не скоро предадут.
Где навсегда оторванные жёны
нас на Таганке возле кассы ждут.
Мне снятся сны про годы и потери.
Про утлый сад, растущий в высоту.
И гуси — головастые тетери —
друг друга окликают на лету.
Ложатся тени шириною в сутки.
Года грозны, как чёрная дыра.
И всё гремят последние попутки,
которые проехали вчера.
Мне снятся сны... Да нет, уже не снятся.
Дожди прошли, и день опять высок.
Грачи на нижних вётлах табунятся.
И слабо ноет старческий висок.

* * *

Прошли дожди, беспечно пылки,
над головами наших слив.
И, словно дно пустой бутылки,
стал день зануден и тосклив.
Соседка ходит в мокрых ботах,
сама с собою говорит.
Она в хозяйственных заботах,
у ней душа от них горит.
Но, Ева первого призыва,
она из прочного ребра:
весь день следит, как зреет слива,
в товарном виде со вчера.
А я сижу в кургузой майке,
у сына взятой напрокат.
И все мы, Божьи попрошайки,
глядим на гаснувший закат.

* * *

Я, помню, был ретив и торопил года.
Хотелось кем-то стать, но плохо получалось,
хотя при всём при том казалось иногда,
что вот оно — пришло, осталась только малость...
А молодость — сплошной глаза слепящий свет.
Из-за него почти не виделись детали:
вон контуры схватил, а подмалёвки нет.
Не проработан фон, и тени выцветали.
Я, впрочем, был тогда никчёмный колорист,
а мир являлся мне в немислимой расцветке.
Попробуй положи его на писчий лист,
перенеси в масштаб координатной сетки!
Умение смотреть приходит невзначай:
ты ничего не ждал, а выдали без сдачи...
И вот теперь сиди по списку ответов
за все свои нелепые удачи.

* * *

Диабетик, старая калоша,
двух веков расходный материал,
я когда-то тоже был хороший
и на страже времени стоял
в той кадетской фотогалерее,
где снимали нас по одному.
(Я стоял, от гордости дурея,
а с чего — ей-богу, не пойму.)
Ветры били пушечным зарядом,
по Самаре замети мели.
Жизнь была налево, где-то рядом,
за седьмой околицей земли.
...Тот алкаш, а этот комиссован,
третий угодил под трибунал.
Видно, были мы товар поповый,
но тогда никто того не знал.
Мальчишки-кадеты, спесь и смелость.
Всей судьбы, что на кон по рублю.
...Диабетик, меченая спелость,
я свой срок по-прежнему трублю.

* * *

Начинаются грустные дни:
дождь в окошке и небо на крыше.
И опять мы на свете одни,
хоть, возможно, и есть кто-то выше.
Кто там смотрит на полдень рябой
и смирением душу тревожит —
чуть пространство поднял над собой,
а ещё поднапрячься не может?
Не понять... Да и нам всё равно.
Мы печалимся о непонятном.
Мы подставили влаге окно,
водим пальцем по смазанным пятнам.
И какая же это тоска
и какие же детские муки!
...На заборе отстала доска —
не доходят до творчества руки.

* * *

Какая в сарае под стрехой возня!
Там птичьи горластые дети...
Ей-богу, ну как тут не вспомнить меня
в моём двадцать первом столетье?
Каким меня ветром сюда занесло?
Ведь я же приймак, я не здешний!
Мне всё ещё помнится номер-число
моей коммунальной скворешни.
Пришельцы из времени наших отцов,
ревнители странных понятий,
мы нынче в гостях у детей-мудрецов
с их множеством генных занятий.
Но сердце молчит, и душа ни гу-гу.
И слишком короткое лето.
...Мы здесь не живём — просто копим деньги
на приобретение билета.

* * *

Побудки, увольненья, непогода...
Ул. Обороны, смутно говорят.
И странный век неведомого рода.
И я кадет, назначенный в наряд.
Спит старшина в затаренной каптёрке.
В сортире тихо булькает вода.
Вот жизнь моя от корки и до корки —
коротенькая, первые года.
Заправлены казённые постели.
Гуляют по Самаре патрули.
Душа гнездится в худосочном теле,
не отличая неба от земли.
На ней моя исподняя рубаха
и гимнастёрка чёрного сукна...
Живи пока, взъерошенная птаха,
глупа, нелепа и совсем одна.

* * *

Опять расфасовывать дни
для новых удач и лишений,
пока не пришёл из Перми
никем не просчитанный гений,
пока сорок первый январь
не стал завершением года
и самую мелкую тварь
обидеть не смеет природа.
Всё будет — притом не хуже.
Всё выпадет в нужном раскладе:
похоже, что век из бомжей...
Но всё-таки с пуговкой сзади.

* * *

Последний из недожившего рода,
затопанного временем в песок,
я был тогда воспитанник народа,
а помыслами честен и высок.
Трясли сезоны воробьиной сетью.
Апрель, капель, веснушчатые дни.
Срамная баба бродит по столетью.
Сугробы где-то прятались в тени.
И ни о чём покуда не жалелось
(как не жалелось после много лет),
а попросту лампасами алелось
и драилось ночами туалет.
Какое тут, к чертям, предназначенье!
Года гнались за нами по пятам.
Какая-то невспомненная Таня,
зачем-то оказавшаяся там,
грядущего громоздкая фрамуга,
подросткового знания балласт.
...И годы, налезая друг на друга,
плотнее утрамбовывают пласт.

* * *

...И снова глаз на небо не поднять
из-за свеченья этих дней особых...
Вон белки не успели полинять,
шныряют мимо в повседневных робах.
Разор в садах и опустелый день.
Дукнешь — отзываются Озёры.
Но эту осень малость приодень —
и не нужны заморские Азоры!
Притом вокруг такая высота,
такое тяготение к простору,
что даже липа Шаховых, и та
с усилием карабкается в гору.
Оттуда близко видно Каблучки,
потом объём пространства над Окою.
А если, поискав, надеть очки —
до Редькина дотянешься рукою.

* * *

Пустяки, ничего не случилось.
Ерунда, никуда не пора.
Пыль вспорхнула, а сесть разучилась.
День собрался уйти со двора.
Клёны вянут. Соседка по даче
моет волосы в мыльной воде.
Век пока не особо удачен.
И уже не укрыться нигде
от дождей, комаров, вертолёттов,
опыляющих пойму и нас.
От окрестных племён и вестготов
и смещения творческих масс.
Беспородные нынче недели —
даже не из чего выбирать.
Пустяки, мы пока что при деле.
Ерунда, не пора помирать.

* * *

Разлука моя до надломленных плеч!
И поле моё, вполсудьбы, ледяное.
И эта так поздно пришедшая речь
про то, а потом, погода, про иное:
к примеру, про нас — про меня и тебя.
Про наши с тобою высокие годы.
Чего же ты смотришь, платок теребя,
у самого края нелётной погоды?
Любимая, кто тебе глянет в лицо
с моим невесёлым прищуром,
платок оренбургский проденет в кольцо,
попробует стать балагуром,
за плечи возьмёт и притянет к себе,
вбирая тебя по шерстине,
по родинке, по пустякам, по судьбе?..
По этой испуганной сини.

* * *

Когда насупленные воды
глядят на низкие поля
и распроклятые погоды
приходят, влагою пыля,
как не задуматься о Боге,
о преходящем, о тщете,
хоть времена не в меру строги,
да и погоды в них не те?
Как не запеть на грустной ноте
романс какой-нибудь такой,
чтоб в каждом местном санкюлоте
душа услышала покой,
нашла ответы всем вопросам,
всё без укора приняла,
простив моим великороссам
их несуразные дела?

* * *

Я лишь подсобник, я по мелочам:
мне не дано копнуть до самой глубины.
Но воздух, прилегающий к плечам,
в дожди всегда особо дружелюбен.
В нём есть покой и прочность бытия,
свобода от обиды и расчёта —
как будто впрямь его придумал я.
Ну, а не я — тогда похожий кто-то.
Да, ровен день и благодарен час
за тишину недолгой передышки.
Глядишь, на нашу леность ополчась,
октябрь за нас допишет наши книжки,
докончит стих, который начат мной, —
и выйдет много лучше Русакова.
Всё это воздух за моей спиной...
Покой и прочность. Хватит и такого.

* * *

Приходит день другому дню в затылок,
листая свой казённый кондуит:
дела села, щербатый звон бутылок...
На спуске храм порушенный стоит.
Сегодня нам, ей-богу, не до храма:
у нас пора гражданственных страстей.
Зачем визжит в Сосновке пилорама,
мешая чтению теленовостей?
Зачем страна опять полна раздора,
то делит деньги, то опять про Крым?
Винит виновных или ловит вора,
грозя при этом первым и вторым?
Я слушаю, как прежде, но вполслуха:
наверно, нужен этих распрей жар
для поддержанья ропщущего духа
и ровного горения Стожар.

* * *

Нас искусствам учил Пифагор.
С геометрией мир — не обуза.
Хоть, по сути, нехитрый набор:
пара катетов, гипотенуза.
Математика, дурь-дребедень:
справа в лузу и точность дуплета...
Из бутона распустится день.
Возле слёз остановится лето.
Затоскует беспутная кровь
по простому раскладу творенья.
Пара катетов, мир и любовь,
к результату сведённые звенья...
Верить истине гипотенуз,
возвращаться к азам начинанья...
Как же я к этой вере тянусь,
как мне хочется точного знанья!

* * *

Всё суета сует, мышинный шорох...
Приходит день, а как не приходил:
петух при тех же офицерских шпорах,
и кот зевает, словно крокодил.
Пусть жизнь сама резон себе находит,
а мне не обязательно искать.
Уже снега просели в огороде —
пора к иным напастям привыкать,
поскольку, как выходит по раскладам,
нас нынче ждёт нелёгкая весна:
недаром небо в рытвинах над садом
и кожа стала яблоням тесна.
Глазкí не прорастают на картошке.
И воробьи вот-вот собьются в сеть.
На этот раз всерьёз, не понарошке
в селе собаки начали лысеть.

* * *

Пока завершается век
под рокот восторженной меди,
закончим недолгий пробег —
и с новым столетьем соседи.
Тут лишь поглядел на восток —
и свет охреял за пролеском.
А меди заёмный восторг
вот-вот заполощется плеском.
Играйте, оркестры судьбы!
Литаврами бейте-гремите.
За поймой леса голубы.
И держится солнце в зените.
Столетье стоит за крыльцом,
не слушая ахи и охи.
Глядится совсем молодцом,
как все записные пройдохи.

* * *

Песком забвения заносит годы.
И поверху ложатся тростники.
Как отступают медленные воды!
Как в старости дуреют старики!
Восьмой десяток — дальше только хуже.
Чего-чего, а уж пора бы знать...
Я был ни в чём столетию не нужен,
но всё-таки хотел его догнать.
Какая это глупая наука —
стареть, всё дальше в детство уходя!
И по удару, по смещению звука
судить о протяжённости дождя,
о долготе в его координатах,
о днях с провинциальной тоской,
о детстве в государственных пенатах...
Но всё равно с протянутой рукой.

* * *

Я вас любил...
А. С. Пушкин

Я вас любил и оставляю тут.
Я оставляю вас стыду и страху,
стихам, которые о вас прочтут,
жалея, как недужащую птаху.
Я вас любил за ваш косящий взгляд.
За лживость и нелепую измену.
За то, что годы нас испепелят.
За Бронницы с Мытищами и Вену.
За то, что вы не будете со мной.
За всё, что горько и несправедливо.
За то, что сад наполнен тишиной
и небывало уродилась слива.
За то, что я всегда во всём неправ,
а это поле от покоса рыже.
За копошеньё полоумных трав.
За то, что я вас больше не увижу.

* * *

Две тыщи чудаков
(и с ними Русаков)
танцуют под дождём
посередине лета.
Поют «падам-падам»
и кружат милых дам,
за талию держа,
в саду у горсовета.

И пусть глядят на нас
двенадцать тысяч глаз —
гостиница, базар,
микрорайон и школа.
Две тыщи чудаков
(и с ними Русаков)
танцуют в горсаду,
а следом радиола.

Подмокших юбок взмах,
коротенькое «ах».
И ветер заплескал
отяжелевшей тканью.
Две тыщи чудаков
(и с ними Русаков)...
Взлететь, и замереть,
и не мешать дыханью.

Июльские дожди
и счастье впереди.
Горячая рука,
приблудная ламбада.

Две тыщи чудаков
(и тот же Русаков).
И та же пустота
заросшего горсада.

* * *

Давайте не равняться на служивых —
на ангелов, на клерков, мусоров...
У нас другое время ходит в жилах,
своим дыханьем губит комаров.
Давайте к жизни относиться просто.
Глядеть на вещи пусть не глубоко,
но чтоб остались перспективы роста
и продолжалось жизни рококо
со всем её немислимым раздраем,
бесстыдством дел и кутерьмою лет.
Но мы своей судьбы не выбираем,
сказал однажды питерский поэт.
Верней, страны... По мне, одно и то же,
хотя об этом спор наперебой.
Лишь та страна, что всех тебе дороже,
за это называется судьбой.

* * *

Ах, белобрысым утром с первым светом,
на холоду, под млечный звук ведра,
стоять счастливым и полуодетым...
И двадцать лет на кончике пера!
А лупоглазый воздух неподвижен.
И жизни не разучены слова.
(Я как-то крупно это время вижу,
хотя детали помнятся едва.)
И нежность боли обметала губы.
Под низким ветром ворохнулся сад.
И медные восторженные трубы
по небесам и яблоням висят.
Сейчас начнётся. Я опять услышу,
как разнесётся их лебяжий звук
и горний хор обрушится на крышу,
и я опять приму из первых рук
весь этот день немыслимого роста
и все смещения окрестных сфер —
как и положено по нормам ГОСТа,
который действовал в СССР.

* * *

...И я вернулся в отчужденную страну
простых страстей и грозных начинаний,
с самой собой ведущую войну
за праведность своих невоспоминаний.
Властители умов, поводыри!
Ревнителю, пророку гневных буден!
На языке врачующей волдыри,
не сомневайтесь — мир вас не забудет!
Вон дым стоит, закрученный столбом,
и поезда трубят лосиным кликом.
И женщина в просторно-голубом
глядит на небо с просветленным ликом.
Живи, моя последняя страна,
который век сама с собою споря, —
протяжная альтовая струна,
звучащая от моря и до моря.

* * *

Тихий дождик пришлёпал низами
в пелеринке из серого дня.
Подошёл, ворохнулся и замер,
потому как увидел меня.
Ничего, не тушуйся, сопливый!
Я не страшный, я сам по себе —
как вот эта промокшая слива
с чем-то белым на нижней губе.
Просто нынче у нас воскресенье,
мелкий торг на озёрском толчке.
Помидоры, да лука висенье,
да соленья в армейском бачке.
Просто баня полощется в шайке,
пахнет веником, счастьем, судьбой.
Да вот эти дожди-немешайки
от Коломны приходят гурьбой.

Два стихотворения

1

Эх, жизнь моя! Сплошной парад-алле.
Идёт себе и оставляет меты.
Я мог бы силой мысли на столе
передвигать доступные предметы.
Да никому не нужен этот дар —
одно фиглярство, форма выпендрёжа.
Но я хочу, пока ещё не стар,
башкой работать стоя или лёжа.
(Во интеллект! Чапаев на коне!
И конь вполне сойдёт по интеллекту.)
А ведь порою хочется и мне
внести в развитие молодёжи лепту:
уметь вести, учить и вдохновлять.
Формировать для жизни поколенья.
...И силой мысли вилки выпрямлять,
погнувшиеся от употребления.

2

Я жить хочу. Я требую повтора.
Продленья. Возмещения затрат.
Заткните уши, чтоб не слышать ора:
«Я жить хочу — трикратно, впятикрат!»
Я быть хочу и говорить об этом.
Терять дыханье от биндюжных гроз.
От пьяных лун над нашим сельсоветом.
Быть, чёрт возьми! Я возраст перерос.

Мне мало дней по Божьей разрядке,
Его добавок — пара лишних лет.
...Довольно, больше не играю в прятки —
кончается классический балет.
Погашен свет, ушла с цветами прима.
Фанаты стихли, всё уже не то.
Из раздевалки смотрит нелюдимо
последнее бездомное пальто.

* * *

Свидетель праздный века своего —
не воин, не судья и не строитель,
я всё-таки равнялся на него,
поскольку был его законный житель.
Ночами в ульях спал рабочий люд —
из рода пчёл, но всё равно трудяги.
Шли поезда, куда всегда идут,
колёсами стуча на каждом шаге.
Я тоже спал, но слушал изо сна.
Округа проседала до прогиба.
И грохот удалялся от окна
куда-то в направлении Турксиба.
Как хорошо, когда надёжен слух
и создан мир по главному лекалу!
Ты спишь, и слышишь времени напруг,
и вырастаешь — не спеша, помалу.
Крепчай, крепчай, напрягшийся бутон!
Тебе и предназначены все эти
перемещенья движущихся тонн
в твоём неустоявшемся столетье!

* * *

Как ангел на ветру, душа моя трепещет:
просчитано Число, пришла её пора.
Так доживают срок подержанные вещи
и души-летуны непрочного пера.
Нет крова на земле идущему без цели.
Нет памяти о тех, кого никто не ждёт.
Мелкопосевный дождь стоит среди недели
и штопальную нить без устали прядёт.
Я позову его — нежней не будет зова.
Но мне ещё нельзя: ведь я покуда тут.
Как всё-таки проста моя первооснова!
Её уже вот-вот генетики прочтут.
Один из них себе на грудь положит руку,
услышит крови ток и мускулов игру.
И, забыв свою серьёзную науку,
прошепчет невзначай: «Как ангел на ветру...»

* * *

Всё те же безутешные поля,
отвалы глины, пыльные карьеры —
моя вдовством пропахшая земля,
несчастливая без повода и меры,
привыкшая не жить, а выживать...
Отчизна, мать в платке домашней вязки.
И всё войдёт в дорожную тетрадь,
где памяти неловкие подсказки,
побасенки, каракули, штрихи,
наброски лиц, характеров заметки.
Покамест непроросшие стихи —
как ждущие взросления ранетки.
Сиротства зов уже почти затих.
Я перестал искать. Ушло, не надо.
Я доживу, пожалуй, и без них —
родни из разорённого посада.

* * *

У каждого своя пространственная ниша —
полуразмытый след на карте бытия.
Но, ничего о том до времени не слыша,
существовал во времени и я.
Неплохо, кстати, жил. Не сетовал к тому же.
Надёжный был мужик, весьма ценим женой.
Да вот узнал про то — и стало много хуже:
как будто жизнь моя рассорилась со мной.
Я отродясь не лез в трагические святцы —
был тихий человек, без трепетных страстей.
Пускай Софокл с судьбою лезет драться —
я с детства не терпел героев всех мастей.
И помнил свой шесток, засиженный сверчками,
свой местный ареал размером в три двора,
который на закат посверкивал очками
и после затихал до самого утра.

* * *

С лицом как стёртый фотоснимок
октябрь вошёл за сентябрём —
в семи дождях нещадно вымок,
обсох к утру под фонарём.
Листва бежала по дороге,
куда-то явно торопясь,
и этот шорох многоногий
мне не давал обдумать связь
между прошедшим и грядущим
на тропарёвском пяточке,
где, говорят, когда-то Пущин
гулял в кургузом сюртучке.
Но, может, он тут сроду не был
и быть ни разу не хотел.
А я к нему под этим небом
из уважения потел.
Дела мои, похоже, плохи,
и стал я попросту дичать,
поэтов пушкинской эпохи
ища в Никулино встречать.
А их здесь нету и не будет.
Здесь только станция метро.
Здесь дождь меня ночами будит,
стуча мне взяться за перо.

* * *

Господи, я не брезглив:
ради слова дерьмом не погребую.
Господи, я бережлив:
жизнь прожил, а другой не требую.
Мне б сперва развязаться с собой,
а потом разберусь со временем:
было — било, да не на убой —
по-отечески, резвым ремнем.
Сделал всё, что сумел и успел.
Больше этого вряд ли сделаю.
Пил, но в меру и голосом пел.
(Да и пил предпочтительно белую.)
Вот такие мои дела
и такое моё старание.
Интересная жизнь была...
Только всё-таки больно ранняя.

* * *

Я долго выростал, стрекал крапивой ноги
и бегал от себя, не зная, что — могу.
Но времени рукой коснулся на дороге,
ногой его задел, споткнулся на бегу.
С тех пор сменился век и прежнего не стало.
Я неумело жил, греша по мелочам.
А солнце надо мной ночами расцветало
и гладило меня тихонько по плечам.
Но как мне дальше жить, кормиться хлебом слёзным,
то хоронить друзей, то видеть сны про то,
как тыщу лет назад в неразорённом Грозном
шагал Саид в своём неистовом пальто,
как Сунжа пронеслась, обрушась ниоткуда,
и повернулась дня натруженная ось?
И кто-то с ближних гор сказал негромко: «Люда».
И это всё потом до ужаса сбылось...

* * *

Победители пишут историю.
Побеждённым она не нужна.
Да и мы сколько б с нею ни спорили,
не отспоришь у ней ни хрена.
Разномастные завоеватели,
Тамерланы косматых веков...
А пошли они к чёртовой матери
с мятой ксивой: «Прислал Русаков!»
Все столетья завалены трупами,
захлебнулись Байкалами слёз.
Предки были, конечно, неглупыми,
но мешал им земельный вопрос:
всё делили наделы-владения,
за аршин убивали родню.
Душегубили до поседения...
Я сочувствую, я не виною,
потому как у нас расстояния
с вечной тягой куда-то туда.
Нам история не достояние,
а извечная наша беда.

* * *

Одинокие люди, я вам посылаю привет.

Из старых стихов

Ваши дружбы пристрастны и непредсказуема страсть.
Вы влюбляетесь в дикторов, пишете письма поэтам.
Это нужно, чтоб жить, уцелеть и вконец не пропасть
в этом мире с ревушим ночным туалетом.
Сколько вас, дорогие, на время махнули рукой?
Вы давно не следите, какая на свете погода.
От неё вам и пользы, похоже, совсем никакой
независимо от настроения и календарного года.
Завсегдатаи зрелищ, читатели толстых томов
про любовь и измену, про счастье с горючей слезою...
Я ведь часто хожу в темноте мимо ваших домов
и в окошко смотрю на торшеры времён мезозоя.
Одинокие люди, я вам посылаю привет.
Ничего, что, по сути, мы с вами совсем не знакомы.
Я ведь тоже такой, у меня никого больше нет.
И всего лишь начальный процесс глаукомы...

* * *

Мы на собраниях пели гимны,
вставая с места как один.
И этот мир странноприимный
нам безусловно подходил.
В нём повторялись сочетанья
высоких дат или теней.
А если женщина, то Таня.
(И остальное всё при ней.)
Какие были годовщины!
Какая роскошь похорон,
когда державные мужчины
несли естественный урон!
Как жизнь была необычайна
и одаряла каждый раз
то колбасою (чаще — чайной).
То польской краскою для глаз!

* * *

Моя счастливая жена
весь день — с утра и дотемна —
танцует и хохочет.
А я ей шутки говорю,
а я ей фантики дарю —
пускай себе стрекочет!

У нас такой весёлый век,
что просто должен человек
до слёз нахохотаться.
А то ведь можно не успеть
всё, что положено, пропеть.
И с танцами расстаться.

Вот-вот грядёт пора простуд,
подует стужа там и тут —
и станет не до шуток.
Закрутит в окнах белый прах.
Очнётся в сенцах пришлый страх.
И вечер станет жуток.

* * *

Вот самолётик в небо лезет
и за собою тянет хвост...
Ах, как душа о небе грезит,
чтоб ей подняться в полный рост!
Ей больше всех, конечно, надо.
Ей, дура, просто невтерпёж
взлететь над яблонями сада,
где длится яблокопадёж,
где жизнь ущербна и сезонна
в случайном обществе людей,
где всем составом гарнизона
кроты зарылись от дождей!
Где я в мои лихие годы —
слегка помятый, но живой.
И кочки вынутой породы,
лежащей книзу головой.

* * *

Так жалко уходить и не услышать зова,
не рассмотреть того, кто окликал меня!
Я был и глуповат, и мало образован.
И жил, совсем своих достоинств не ценя.
Их было у меня — по гамбургскому счёту —
всего на полстроки, зато они мои.
Я делал на земле подённую работу,
но плохо умещался в бытии.
Теперь мне наплевать: переболел и выжил.
Все игры позади и прибыль в кулаке.
Кончается пора охальников и выжиг.
И солнце день-деньской стоит невдалеке.
Поднять к нему лицо с закрытыми глазами.
Сквозь веки видеть двор, дорогу, местный рай.
И время, уходящее низами.
И тени отступают за сарай.

* * *

Из подтопки порхает седая от горя зола.
Что случилось? Наверно, опять никудышная тяга.
Так и есть: по проулку летит из печного ствола
со следами ожога кричащая криком бумага.
Дорогие, так больно, когда достают до души!
Прикасаются к телу, до глаз норовят дотянуться.
И хоть сразу подлечишь, хоть дальше на время грехи —
долго будет болеть и непрочные жилки помнутся.
Я ведь сделан неловко, не нужно меня кантовать.
Было время — сходило, а нынче не то обращенье.
Да и мне нужен стол или стул и хотя бы кровать.
И бумага — как верное средство леченья.
...За окошком стемнело. У школы горят фонари.
Слух всё чаще подводит и зренье становится хуже.
Мне успеть бы узнать об отцовской родне из Твери.
Рассказать про Озёры и наши великие стужи.

* * *

...А я хотел бы стать картавющим фаготом,
по вечерам блажить-кружиться в горсаду.
Но сада больше нет, и город продан жмотам.
И я уже туда дороги не найду:
подводит в мелочах растерянное зренье,
не отвечает слух на зовы в никуда.
Над Аблова звезда протяжного горенья —
ещё красноармейская звезда.
Нечётки жизни след, и все её названия —
крошущимся мелком на рухнувшей стене.
Кому теперь нужны внезапные взмыванья
фартовых сизарей? Не мне, уже не мне.
Я больше не вернусь искать себя на Горке.
Меня давно там нет, и стали далеки
цыганской ворожбы цветастые оборки,
мордовские камвольные платки.

* * *

Снова мелкий сыпучий снежок
и судьба расстояньем в два шага.
Снова счастья внезапный ожог
и к родству неразумная тяга.
Замерзает на ветках ранет.
Скоро ветер пройдёт над садами,
и ранету спасения нет —
дохиреет с другими плодами.
Вот оно, это злое родство
с гиблым садом, с терпеньем и верой!
Погляди — на земле никого,
но отмерено полною мерой:
этот век, этот день без числа,
но с подлобным невидящим взглядом,
засыпающий землю дотла
третьесортным своим снегопадом.

* * *

Трудам души не писаны законы.
Из старых стихов

Трудам души не писаны законы.
На дальнем спуске вспыхнуло окно.
Теснятся в небе тучи-терриконы,
и видно дней продавленное дно.
Играют песни где-то за Сухушей:
поют свои, поскольку вразнойбой.
(Сегодня воздух почему-то глуше
и словно перегружен сам собой.)
Пришла пора положенным заботам:
вот-вот наступит месяц-мясоед
с разгулом свадеб (чаще по субботам)
и памятью о тех, которых нет.
О широте пространства над Окою.
О постоянстве близких холодов.
О том, что Бог небрежною рукою
благословил плоды моих трудов.

* * *

Я от счастья заболёу,
буду спать и видеть сны:
кудреватую аллею
за окошком у весны
и травы разнообразной
оступающийся рост —
просто первой, просто праздной,
непригодной на компост.
Жизнь вполне переносима
при разборе на развес:
грамм по двести, тётя Сима,
и с халвой, а лучше без!
Лучше просто в чистом виде.
Лучше там, где отчий дом.
Я на время не в обиде,
но живётся в нём с трудом.

* * *

Притяженье земли всё сильней.
Всё трудней от неё отрываться.
Я и рад бы остаться на ней
лет на десять, а то и на двадцать.
Но мешают другие дела,
появилась иная докука:
тишиной меня жизнь доняла —
постепенным редением звука.
Сотворенье теряет слога.
В нём становится глухо и сиро.
Мне, признаться, не речь дорога,
а скорей многозвучие мира:
этот фон, этот звукодымок...
А из речи я попросту вышел:
всё сказал, что хотел или мог.
Всё, что нужно, похоже, услышал.

* * *

Ах, бог ты мой, какое, право, дело
и нам до неба, и ему до нас?
Другим — душа, а мне довольно тела.
Я перебыюсь — оно мне в самый раз.
Пусть земля останется опорой,
не гаснет день и не смердит вода,
дежурный ангел прилетит на скорой
и всё вокруг поправит, как всегда.
Кому-то надо помогать нам с этим —
с упрямством жизни, с бестолочью дел...
И с мелочно-бессмысленным столетьем,
которое, похоже, наш удел.
Пусть будет всё, как было при татарах.
При жмуди. При варягах. При царях —
чтоб то же тело — из ещё не старых...
И свет в глаза. И мускулов напруг.

* * *

Вот наступает время отречения
от слов, от обещаний, от людей.
От мимолётной страстности влечения
и от отцовских истовых идей.
Пора проверить прочность нашей веры,
столетье — на подогнанность частей.
Благословенны прошлые химеры
в преддверии грядущих новостей,
перед приходом невозможных чисел
и возвращением непосильных лет,
когда от крови станет воздух кисел
и расцветёт багровым бересклет.
Когда февраль с прищуром косоглазым
оглянет перезрелые снега —
и жизнь мою увидит вдруг и разом...
И всё, за что она мне дорога.

* * *

Значительность мысли даёт направление строке
и учит слова открываться навстречу друг другу.
Я тоже хотел бы остаться в родном языке,
но поздно, и время смещается с птицами к югу.
Вон мается рядом до нитки обобранный сад,
а тяга к общению скудеет по мере сезона.
Уже не до птиц — всё равно воротятся назад
к высоким местам отведённого им гарнизона.
Я нынче проснулся в каком-то счастливом часу
с желанием жизни и тягой к мужицкой работе.
И жалко, что втуне весь этот запал растрясу
на хлеб мой насущный и праздные хлопоты плоти.
Упорством души достаётся большая строка.
Значительность мысли — итог возмужавшего духа,
гляденья, как низко бегут над землёй облака
и пятые сутки на свете просторно и сухо.

* * *

Прожит день пустой и никчомушный,
без улыбки, с каменным лицом.
А казалось утром: этот — ушлый
и держаться будет молодцом.
Так вот ошибаемся в соседе,
как бывало — в выборе подруг...
Хлеб моей терпимости доеден,
я теперь брюзжу на всё вокруг.
Нет, не стал я с возрастом добрее
ни к себе, ни к сыну, ни к жене...
Я неуважительно старею:
мне моё столетье не по мне.
Дай, Владыка, веры и смиренья,
научи прощать и забывать
всё, что видит яростное зреньё,
всё, что душу стало надрывать!

* * *

...Но какая, скажите, нужна этим будням охрана?
Доцветающим золотом блещет негромкий июль.
Шепелявые сутки текут из небесного крана.
Постучалась в окошко пора краснопахарских дуль.
Вон как нынче село от спиртового духа шатнуло!
Благородная пыль оседает по следу колёс.
И вот-вот уже август наставит весёлое дуло
и шарахнет горохом поверх мелкорослых берёз.
Пусть его хулиганит в свои календарные сроки.
Пусть опять отступает на пляжах глухая вода.
Пусть проходят Окою придонные грозные токи,
на четырнадцать метров зарывшись куда-то туда.
Далеко по реке уплывают навальные грузы —
нынче всюду, похоже, потребен озёрский песок.
А для нас остаются дородные местные музы,
золочёное небо и ржавые гривы осок.

* * *

Тишайший день с рачительным снежком —
безветрие и медленность круженья.
Идёт себе, как водится, пешком,
поскольку жизнь — процесс передвиженья.
Но вот спроси — какой ему расчёт
при стариковской шаткости походки?
Чего плетётся, и не первый год,
с сезонным перерывом посередке?
То серебрится рыбьим пузырьём,
то искажает графику предметов.
...В ближайший век мы точно не помрём:
ведь с нами память о стране Советов,
об алых звёздах из пяти углов
и о существованье под копирку.
О том, как Глеб Егорович Жеглов
бандитов жлобил, приподняв за шкуру,
как Бога нет, поскольку вышел вон,
но есть «Отличник ОСОАВИАХИМа».
Как пел слегка осипший патефон
то про любовь, то про ландшафты Крыма.

* * *

Я слышу ветра звук: сейчас в холодном поле
свечение низких солнц и тяжкие снега.
Гуденье проводов, пора исходной голи.
И ночи в три часа чернее сапога.
А я боюсь ночей и звуков этой стыни,
когда хрустит во тьме обледенелый наст
и кажется, что мир пустынное пустыни,
о чём предупреждал ещё Экклезиаст.
Как всё-таки точны библейские пророки
в подробностях своих вселенских катастроф!
Я в них с карандашом высчитываю сроки,
закладывая их в архитектуру строф.
А будут или нет — что в нашей жизни даты?
Смещением на век ничто не изменить.
Я слышу ветра звук за стенами палаты.
Прогнулась дней моих капроновая нить.

* * *

...А так нельзя. Во всём порядок нужен.
Нельзя с утра основы потрясать:
то горизонт намеренно заужен,
то пьяный заяц кинется плясать.
С чего бы он? Да кто же зайцев знает!
Я сам из них, а толком не пойму...
Творенье только-только начинает
равняться по хотенью моему.
Куда уйти и с кем договориться
насчёт судьбы, подробностей и дат?
А может, нам пора угомониться
и не лепить поспешный самиздат?
Жить на миру, равняться на великих,
грешить во сне, лежать лицом к стене.
И помнить эти солнечные блики,
канун дождей, светание в окне.

* * *

Настало время возвращать долги:
нам, не прося расписок, их давали.
Ты, принимавший помощь, помоги!
Ты звал — и вот теперь тебя позвали.
У мёртвых — ни долгов и ни хлопот.
Лишь у живых между собою счёты.
А там лежит страна длиною в год:
одни ухабы или повороты.
Под старость чаще думаешь о ней —
я прожил век с её замесом крови.
Меня сжигали до последних дней
её неотвратимые любви.
Она мои напасти до сих пор
отводит благодатными руками...
...Каким бы ни был наш семейный спор,
я никогда в неё не брошу камень.

* * *

Пойду подышу на природу,
чтоб сделать природе плезир:
в природе в такую погоду
богатый растительный мир.
Среди полевых насекомых —
одной из опор бытия —
я встречу друзей и знакомых,
гуляющих так же, как я.
Они отдыхают роями,
и все в них друг другу свои.
Я прежде дружил с муравьями,
но вечно в делах муравьи.
А мне бы кого-то попроще,
чтоб тоже ходил и дышал,
не претендовал на жилплощадь...
Дышал бы и жить не мешал.

* * *

...Но как уходит время из стихов —
его приметы, палочки-крючочки!
Названья повседневных пустяков:
авоськи, керогазы, пищеточки.
Потом ещё ночные воронки,
РККА и шпалы с кубарями.
И всё — на расстоянии руки...
И всё в одной неразличимой яме.
Мой бывший мир, прощание моё!
Распылы «Шипра», холодок по коже.
Как будто жизнь, а глянешь — дожитьё...
И бирки райсобесовской одежды.
Мне Мелекесс привиделся опять,
его хлеба с чудовищным осотом.
...Я лишь пчела, вернувшаяся вспять
к давно уже опустошённым сотам.

* * *

Не отягчай себя греховной злобой —
зачем Тебе? Я скоро сам помру.
Вот жизнь моя — вполне стандартной пробы
и прожита стандартно на миру.
Ещё чуть-чуть — меня на век не хватит.
Ты потерпи, я не Мафусаил.
Вон дождь опять дорогу колошматит,
и по протокам оседает ил.
Всё как обычно. Выгоняют стадо.
Кукушка подсчитала мне года.
А мне так много даже и не надо:
я — как другие, я не навсегда.
Оставь мне хоть бабуринский просёлок,
Оку, песок, истыканный дождём.
Я, Господи, непрочен и недолог...
Но мы, Творец, иного и не ждём.

* * *

Судьба всегда как будто в стороне.
Похоже, ей с другими интересней:
в них что-то есть, поскольку нет во мне.
А вот чего — не объяснит, хоть тресни!
Да ладно, обойдёмся, проживу.
Мне не впервой, я не прошусь в валеты.
В начале марта ворочусь в Москву,
налягу на пожарские котлеты,
достану эскимо на холоду,
схожу в кино, а после — к местной Лете,
где рослый Пётр в немыслимом году
несёт рулон на стрелку в Моссовете.
Где, боже мой, такие небеса
с таким невероятным разворотом,
что прочие родные чудеса
проигрывают рядом с псевдофлотом,
а сам размер теснящейся реки
сопоставим и совпадает даже
с движением властительной руки,
воздетой над металло-такелажем.

* * *

Поэты гражданского темперамента,
стояли на этом, как помнится, намертво:
за временем нужен хороший пригляд.
У тех, у которых гражданского не было,
за всё отвечала какая-то небула,
которая делала то, что велят.

Мы верили в цифры и в предназначение,
но было одно кувырманье-верчение.
Неслась под понтоном слепая вода.
К одним не тянуло, другие не нравились...
А третьи со временем просто не справились.
Я всем им завидовал, но не всегда.

Мне ближе трудяги простого мышления,
спокойной судьбы, без претензий на гения,
которым не надо вставать на носки.
Касательно небулы... Бог с ней, с докукою:
она и до этого паялилась буюю
и холодом трогала мне волоски.

Я думал о бренности, о быстротечности.
О том, что болят в непогоду конечности,
хоть вроде бы рано, да и ни к чему.
А время смещалось без всякого повода,
в своём постоянстве докучливей овода,
направо, за Редькино, на Кострому.

* * *

Я слушал время и душой твердел
для дела жизни и цветенья сада,
но поздно понял цену малых дел,
касая рук и утешенье взгляда.
Для жизни нужен выверенный срок,
упрямство, горечь и пристрастность знания.
Руке — уже привычный мастерок..
И праздничное чувство начинанья.
Всё остальное — после и потом:
само притрётся, делается важным.
А ты дыши разгорячённым ртом
и занимайся промыслом бумажным:
корпи над строчкой, выпрямляй нажим.
Трудись над смыслом — беспричинно тёмным.
Над телом, что становится чужим.
Над временем, что стало неподъёмным.

* * *

Загремело так шибко, так звонко,
молоньёй прочеркнуло враскос!
И творенья непрочная плёнка
порвалась на двенадцать полос.
Ну давай, добавляй под завязку!
Пропори шапито бытия,
начинай эту пьяную тряску,
мокроносый небесный Илья!
Ай как жгут меня жаждой и жаром
эти пять невозможных минут!
Как сейчас всё покатится шаром:
руки вывернут, ноги намнут.
Грач крылами всполошно замашет,
хляби неба отверзнутся вдруг...
...Там Господь в своей горнице пляшет —
шапку набок, с носка на каблук.

* * *

Когда я вижу красоту времён —
сезонов, лет, а нынче и столетий,
то я — не мудр и даже не умён —
хочу ещё пожить на этом свете.
Лет, скажем, двадцать. Или двадцать пять.
А лучше без подробностей цифири:
дойти до нужной точки — и опять
остаться на постое в этом мире.
Он без меня неплотно заселён.
Я нужен в нём невнятным обеща́ьем.
Он только-только вырос из пелён,
но не моим старанием и тщаньем.
А мне б успеть свой ролик доглядеть —
ему уже не будет продолженья.
Потом стареть, глупеть или сесть...
Потом лежать на месте без движенья.

* * *

Всё сразу зацвело: и женщины, и флора.
Ей-богу, хорошо. Да и давно пора:
то были холода с дождями без разбора,
то били по садам brutальные ветра.
Тяжёлая весна. Давно все жданки съели:
тепла, Творец, тепла! И наконец пришло.
Потерпим, переждём, душа обсохнет в теле...
И снова за своё — за дело-ремесло:
вымеривать строку, отчёркивать цезуры,
на маковки церковей нанизывать года.
Как всё-таки смелы и женщины, и куры
и как земля опять внезапно молода!
Теперь глазам глядеть и радоваться флоре.
И бабочке-душе подрагивать крылом —
на солнечном ветру, на высохшем заборе,
в раскрывшийся объём кидаясь напролом!

* * *

Высокие дожди пришли из-за Коломны —
совсем издалека, от самых Луховиц,
где ночи коротки, а зарева огромны
и местные ветра в хлеба ложатся ниц.
Учись, душа, учись покорности природы,
большим её дождям и медленности дней!
Ока уже полна, на пойму гонит воду
и топит лозняки, ныряющие в ней.
Пристрастие к стране, не знающей предела,
пометило меня свой тамгой-тавром.
Я так всю жизнь любил её большое тело
и думал про неё в разлуке за бугром!
Про копошеньё сфер над приозёрским лесом
и полувнятных сёл размытые огни.
Про город, что я звал когда-то Мелекессом...
Но больше нет его среди моей родни...

В 1972 году Мелекесс переименован в Димитровград.

* * *

Какие воробьи клюют у вас зерно?
Как нынче ваша жизнь по ниточке прядётся?
Как ладится в рядок с моей запододно?
Кому она нужна и ко двору придётся?
Поди их разбери! Но где-то есть друзья,
неведомые мне родные человеки,
которым нужен я — да, непременно я!
(хотя, возможно, что уже не в этом веке) —
бог знает для чего!
Для радостных бесед
на лёгком сквозняке в распахнутой терраске,
куда приходит вдруг восторженный сосед
и долго говорит о припасённой краске,
о качестве дорог и купленных кистей,
причём из колонка — о, мой Рембрандт покраса! —
а мы уже гудим, не слыша новостей,
а нам уже легко, и до восьмого часа,
потом до десяти... Андреич, ты зачем
преставился не тут, а у врачей в Озёрах?..
И не видать конца серьёзных этих тем
в ответственных таких и срочных разговорах!
...Так чьи же воробьи клюют у вас зерно,
далёкие мои, чужие человеки?
А впрочем, всё потом и с прочим заодно...
На лёгком сквозняке. Уже не в этом веке.

* * *

Когда не знаешь — ничего не стыдно.
Когда не помнишь, то не можешь знать.
Пусть дотлевет месяц серповидный —
мне этот август нынче не догнать.
Плотнее натяну пиджак на плечи,
ногами заберусь под ветхий плед...
Всё сбудется по случаю неустрахи
моей и тех, которых больше нет.
Уже давно дочитаны страницы
забытых лет и краткосрочных дел.
Мне ничего из этого не снится —
я каждый сон до корки проглядел.
И штудии насильственного века
мне ни о чём уже не говорят:
кем был Нерон, на что ему Сенека —
все имена вразбивку и подряд...

* * *

Сидеть в темноте и смотреть в темноту
и думать при этом о чём-то спокойном:
мол, вот подведём наконец-то черту
семейным раздорам и родственным войнам.
Да только Америка снова блажит
и турки затеяли что-то такое...
А век и взаправду ещё не прожит,
но надо прожить и дожждаться покоя,
болеть демократией, верить ворам,
искать за делами забытого Бога,
с протянутой шапкой ходить по дворам...
Не слишком ли этого, граждане, много?
К тому же всё время куда-то спешить,
то с властью бороться, то летом на даче...
Нам попросту некогда мелко грешить:
как прежде — с такою, бывало, отдачей!

* * *

...А я гляжу на мир с весёлым выраженьем,
болтун, олигофрен, ловец осенних мух,
поскольку я во всём согласен с окруженьем,
хотя и не могу понять его на слух.
В мои смурные дни мне хорошо живётся:
они мне в полный рост, на отступ в три шага.
Земля во все концы, дистанция не рвётся,
а всё же на Оке просели берега.
И крошился мел в порожних птичьих норах.
Запели по ночам под ветром провода.
И видно далеко на пойменных просторах,
где медленно течёт усталая вода.
Земля во все концы, хватает места людям.
К чему её делить, распугивать зверьё?
Мы здесь не навсегда — мы так недолго будем...
Недолго звать и петь и покидать её.

* * *

На шорох трав, крадущихся бугром,
я просыпаюсь в самой волчьей теми.
Куда они? И дальний этот гром,
который, судя по всему, не в теме...
Хоть глаз коли — такая непроглядь.
Дождей не слышно, потому не встану —
устал я их на место направлять
согласно установленному плану.
Чему свершиться — то произойдёт.
Что путаться у Бога под ногами?
Он при нужде тебя всегда найдёт
и различит в многоголосом гаме...
Я подожду, как травы отспешат,
и вновь засну без всяких сожалений.
Но снова буду слышать мерный шаг
сместившихся за травами селений.

* * *

Уход листвы уже совсем не за горами.
И отощал комар, и задубел анис.
И стало широко светлеть в оконной раме —
уже не разберёшь, где нынче верх и низ.
Пора, пора, мой друг, готовиться к мелению
скудеющих протоков и к замедлению рек.
Похолодали дни — сезонное явление.
Стихает по дворам петуший кукарек.
И хочется стихов протяжного распева,
где про «уход листвы, удачам вышел срок»,
хоть это всё не так, а справа и налево
протянуто рядом дичающих дорог,
скукожены рябин беспомощные гроздья.
И снова посреди хозяйственных забот
у Шаховых дрожмя дрожит борода козья —
мочалка на столбе уже который год.

* * *

Ну наконец-то я вошёл в мяса,
стал круче костью и мордастей ликом!
И думаю теперь про небеса
и о себе, исходно невеликом.
Конечно, и про бренность бытия...
Но в целом без трагичности, вполсилы:
как будто это кто-то, а не я:
ну, бытие, ну, пожито, ну, было.
Теперь заботы — не набрать бы вес.
Попасть бы в рай, хотя проблематично...
И к женщинам вторичный интерес —
скорее как к явлению, а не лично.
Всё стало мельче, и нужны очки.
Быт отстранился, будто я не здешний.
И жизни неизменные тычки
привычны, словно воздух над скворешней.

Содержание

«Когда июль другими именами...»	3
«...И властный зуд, как прежде по весне...»	4
«С губами словно лопнувшая почка...»	5
«Август подан изюминой сладкой...»	6
«Я твёрдо ходил по земле...»	7
«В ту пору лингвистических загулов...»	8
«...А ночь горька, как бунинская проза...»	9
«В апреле вдруг произошла весна...»	10
«...Впрочем, всё уже начато»	11
«Дерюга дней ещё не порвалась...»	12
«Я в десять лет узнал размеры мира...»	13
«Хопёрские смуглые девы...»	14
«Дневных теней колеблемая ткань...»	15
«Господи Боже, давай поживём...»	16
«Я просыпался на холмах Тосканы...»	17
Переполюх	18
«Перед дождём слезятся огурцы...»	19
«Всё путём, как надо, шито-крыто...»	20
«Не нужно принимать себя всерьёз...»	21
«Дождь без ветра, тугой и отвесный...»	22
«Собаки воют — нынче смерть в селе...»	23
«...И всё же есть у нас такое право...»	24
«Случайная гармонь звучит в двадцатом веке...»	25
«Вон птица на крыше свистит напролом...»	26
«Ничего, что стихи грустноваты...»	27
«У меня изменилась манера письма...»	28
«Я про червей, что выбрались на свет...»	29
«Читатель, мы, как помнится, дружили...»	30
«Завершилась пора насекомых...»	31
«За Джанкоем плотнеет земля...»	32
«Когда мне Чино да Пистойя...»	33
«Как вам живётся-можетя?...»	34
«...И я мой век мучительно люблю...»	35
«Мы сомнительной генеалогии...»	36
«Что-то начато... Может, судьба...»	37
«Нет отныне ни слова, ни дела...»	38
«Пока ещё не рухнуло лицо...»	39

«Я жизнь несу, как воробья в картузе...»	40
«Моих скитаний прорвы-города...»	41
«Нам жить да жить и много удивляться...»	42
«...И мне то солнце напечёт...»	43
«Всё тише гул: дожди врастают в травы...»	44
«Пружинит подмокшая снизу трава...»	45
«...А в тишине какой-то смутный гуд...»	46
«Я мальчик с книжкой на затёртом снимке...»	47
«Запаскудел я к старости: родинки, чёрные точки...»	48
«Нет времени без имени...»	49
Сны	50
«Прошли дожди, беспечно пылки...»	53
«Я, помню, был ретив и торопил года...»	54
«Диабетик, старая калоша...»	55
«Начинаются грустные дни...»	56
«Какая в сарае под стрехой возня!...»	57
«Побудки, увольненья, непогода...»	58
«Опять расфасовывать дни...»	59
«Последний из недожившего рода...»	60
«...И снова глаз на небо не поднять...»	61
«Пустяки, ничего не случилось...»	62
«Разлука моя до надломленных плеч!...»	63
«Когда насупленные воды...»	64
«Я лишь подсобник, я по мелочам...»	65
«Приходит день другому дню в затылок...»	66
«Нас искусствам учил Пифагор...»	67
«Всё суета сует, мышинный шорох...»	68
«Пока завершается век...»	69
«Песком забвения заносит годы...»	70
«Я вас любил и оставляю тут...»	71
«Две тыщи чудаков...»	72
«Давайте не равняться на служивых...»	74
«Ах, белокрысым утром с первым светом...»	75
«...И я вернулся в отчую страну...»	76
«Тихий дождик пришлёпал низами...»	77
Два стихотворения	78
«Свидетель праздный века своего...»	80
«Как ангел на ветру, душа моя трепещет...»	81
«Всё те же безутешные поля...»	82
«У каждого своя пространственная ниша...»	83
«С лицом как стёртый фотоснимок...»	84

«Господи, я не брезглив...»	85
«Я долго выростал, стрекал крапивой ноги...»	86
«Победители пишут историю...»	87
«Ваши дружбы пристрастны...»	88
«Мы на соборных пели гимны...»	89
«Моя счастливая жена...»	90
«Вот самолётик в небо лезет...»	91
«Так жалко уходить и не услышать зова...»	92
«Из подтопки порхает седая от горя зола...»	93
«...А я хотел бы стать картавящим фаготом...»	94
«Снова мелкий сыпучий снежок...»	95
«Трудам души не писаны законы...»	96
«Я от счастья заболел...»	97
«Притяженье земли всё сильнее...»	98
«Ах, бог ты мой, какое, право, дело...»	99
«Вот наступает время отречения...»	100
«Значительность мысли даёт направление строке...»	101
«Прожит день пустой и никчемный...»	102
«...Но какая, скажите, нужна этим будням охрана?..»	103
«Тишайший день с рачительным снежком...»	104
«Я слышу ветра звук: сейчас в холодном поле...»	105
«...А так нельзя. Во всём порядок нужен...»	106
«Настало время возвращать долги...»	107
«Пойду подышу на природу...»	108
«...Но как уходит время из стихов...»	109
«Не отягчай себя греховной злобой...»	110
«Судьба всегда как будто в стороне...»	111
«Поэты гражданского темперамента...»	112
«Я слушал время и душой твердел...»	113
«Загремело так шибко, так звонко...»	114
«Когда я вижу красоту времён...»	115
«Всё сразу зацвело: и женщины, и флора...»	116
«Высокие дожди пришли из-за Коломны...»	117
«Какие воробьи клюют у вас зерно?..»	118
«Когда не знаешь — ничего не стыдно...»	119
«Сидеть в темноте и смотреть в темноту...»	120
«...А я гляжу на мир с весёлым выраженьем...»	121
«На шорох трав, крадущихся бугром...»	122
«Уход листвы уже совсем не за горами...»	123
«Ну наконец-то я вошёл в мяса...»	124

Геннадий Русаков. Дни

редактор:

А. Переверзин

корректор, технический редактор:

О. Тузова

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 4.04.2016

Формат издания 60x90/16. Усл. печ. л. 8

Тираж 500 экз.



Геннадий Русаков родился в 1938 году в Воронежской области. В войну осиротел, воспитывался в детдоме, беспризорничал, пока не попал в Куйбышевское суворовское училище, которое окончил в 1958 году. Учился в Литинституте, после второго курса перешёл в Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Работал переводчиком-синхронистом в Секретариате ООН в Нью-Йорке и Женеве. Дебютная публикация в периодике состоялась в 1955 году. Первый сборник стихов «Горластые ветры» издан в 1960 году в Куйбышеве, затем — книги «Длина дыхания» (1980), «Время птицы» (1985), «Оклик» (1989), «Разговоры с богом» (2003), «Избранное» (2008). В 1989 году вышла книга переводов «Сонеты современников Шекспира». Лауреат Национальной премии «Поэт» (2014), премии Союза писателей Москвы «Венец» (2011), журнала «Знамя» (1996) и других.